

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ

ПЕРВЕНЦЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

К 185-ЛЕТИЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

Декабристскому сюжету в отечественной историографии посвящена огромная литература. И, тем не менее, даже сегодня, когда декабристоведение, освобожденное от тягостной опеки прежнего официоза, явно обретает “второе дыхание” (достаточно назвать работы В. М. Боковой, П. В. Ильина, О. И. Киянской, В. С. Парсамова, С. Э. Эрлиха), современный историк М. Д. Долбилов называет проблему “национализма в декабристском движении” все еще “ожидающей глубокого исследования”. Увы, с этим невозможно не согласиться.

Специальных работ на указанную тему практически нет. Чуть ли не единственное исключение — отличная статья К. Ю. Рогова “Декабристы и “немцы” (журнал “Новое литературное обозрение”, 1997, № 26), но как характерно, что ее автор — “человек со стороны”, не принадлежащий к сообществу патентованных специалистов по декабризму. Последние же, как правило (впрочем, следует отметить содержательную интернет-публикацию В. С. Парсамова о национализме П. И. Пестеля), довольствуются справедливыми, но слишком беглыми рассуждениями о том, что “элемент национальный и даже, можно сказать, националистический был в декабризме вообще одним из основных <...> декабризм <...> на всем своем протяжении питался идеями российской великодержавности и национального самоутверждения” (В. М. Бокова). Но на это уже указывали и сами декабристы, и первые отечественные декабристovedы еще в позапрошлом столетии; “резкий национализм” “первых дворянских революционеров” констатировал М. Н. Покровский и другие советские историки 1920–1930-х гг. Прогресс, право же, не велик.

Между тем, проблема декабристского национализма имеет не только научное, но и общественное значение. В современном российском массовом сознании распространена “черная легенда” о декабристах как чуть ли не о врагах России. Этот вздор, конечно, характеризует лишь прискорбный уровень исторического невежества самих его пропагандистов и потребителей. Но с другой стороны, молчание историков-профессионалов по данному вопросу способствует распространению крайне вредного предрассудка: *борьба против любого правящего режима обязательно равняется национальной измене.*

СЕРГЕЕВ Сергей Михайлович (р. 1968) — кандидат исторических наук, докторант МПГУ, научный редактор журнала “Вопросы национализма”, автор книги “Пришествие нации?” (2010).

Историческое невежество современного российского общества поразительно. Случай декабристов прекрасно его демонстрирует. Так и не опомнившиеся от советской пропаганды, внушавшей, что Пестель и Муравьевы – прямые предшественники Ленина, наши люди повернули ее слева – направо и теперь обвиняют героев 14 декабря почти в том же, за что раньше ими же восхищались. Причем как прежнее восхищение, так и нынешнее обличение ничего общего не имеют с исторической реальностью.

Ах, декабристы – безбожники, враги Православия! Нужды нет, что современная исследовательница В. М. Бокова не смогла отыскать среди них практически ни одного атеиста, что такие члены Тайного общества, как Ф. Н. Глинка, А. Н. Муравьев, С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, Е. П. Оболенский, М. А. Фонвизин, В. И. Штейнгейль и многие другие отличались именно пламенной религиозностью, что в “Русской Правде” Пестеля Православие объявлено государственной религией нового Российского государства!

Ах, декабристы – бессовестные убийцы, собирались покушаться на жизнь монарха! Невольно вспоминается, как один из членов Верховного суда, участник заговора против Павла I, стал укорять Н. А. Бестужева: как, вы, молодой человек, посмели поднять руку на священную особу государя! – на что последовал остроумный ответ: “И это вы мне говорите?!” Отвратительные убийства Петра III, Иоанна VI и Павла I почему-то не кажутся нашим нынешним апологетам монархии преступлением, зато цареубийственные намерения декабристов (кстати, далеко не всеми из них разделяемые) выставляются как невиданное на Руси дело.

Ах, декабристы боролись с самодержавием, а стало быть, с Россией! Нет, знаете ли, силлогизм “самодержавие = Россия” еще доказать нужно. Ибо нередко политика Романовых носила прямо антинациональный характер. Об этом можно прочесть и у таких консерваторов, как Ф. И. Тютчев, М. П. Погодин, М. Н. Катков, И. С. Аксаков, К. Н. Леонтьев...

Вопреки разного рода фантазиям, *декабристы – не только не враги России, а, напротив, первые по-настоящему последовательные русские националисты.* И чтобы это понять, не нужно особо копаться в архивах, достаточно заглянуть в “Русскую Правду” Пестеля. Другое дело, что историки, специалисты по декабризму, не любят касаться этой опасной темы, и она сегодня практически не изучена.

Настоящая статья – попытка заполнить этот досадный пробел.

Поскольку в научном сообществе продолжается дискуссия о критериях принадлежности того или иного персонажа к декабризму, считаю необходимым сразу оговориться, что мой критерий чисто формальный: декабрист – это член того или иного тайного общества, признаваемого большинством специалистов как декабристское: Ордена русских рыцарей, Союза спасения, Союза благоденствия, Северного общества, Южного общества, Общества соединенных славян.

Чтобы максимально облегчить и без того достаточно сложный и обширный текст, я отказался от ссылок на источники и историографию. Желающие могут найти их в “академической” версии этой работы, опубликованной во 2-м номере журнала “Вопросы национализма”.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Советские историки много писали о патриотизме декабристов, тщательно стараясь подчеркнуть его нетрадиционный для императорской России, “революционный” характер. Это в каком-то смысле верно, но требует серьезных оговорок.

В сравнении с революционерами следующих поколений (не только с разночинцами, но и с дворянами Герценом и Бакуниным) мировоззрение декабристов отличается именно отчетливой преемственностью с традиционным имперско-великодержавным дворянским патриотизмом, окончательно сформировавшимся в эпоху Екатерины II, когда дворяне сделали единственными полноправными гражданами Российской империи. Декабристы, подобно своим отцам, отнюдь не чувствовали себя “лишними людьми”, “государственными отщепенцами”, не ощущали отчуждения от имперского государства, считали его “своим”, а дела государственной важности – своими личными делами. Но под влиянием Отечественной войны 1812 г. (более ста будущих декабристов – ее

участники, из них 65 – сражались с французами на Бородинском поле) дворянский патриотизм радикально трансформировался, обрел новое качество.

Об определяющей роли войн с наполеоновской Францией в формировании декабристской идеологии написано слишком много, чтобы подробно на сей счет распространяться. Отмечу только малоизвестное свидетельство М. И. Муравьева-Апостола, относившего зарождение декабризма к одному из эпизодов 1812 г., когда находившиеся в Тарутинском лагере молодые офицеры лейб-гвардии Семеновского полка (среди коих – сам Матвей Иванович, его старший брат Сергей, И. Д. Якушкин) отреагировали на слухи о возможном заключении мира с Наполеоном следующим образом: “Мы дали друг другу слово, <...> что, не взирая на заключение мира, мы будем продолжать истреблять врага всеми нам возможными средствами”.

Таким образом, будущие члены Тайного общества уже тогда были готовы пойти на прямое неповиновение верховной власти во имя интересов государства, истинными выразителями которых они себя ощущали. Служение Отечеству перестало быть для них синонимом служения монарху, их патриотизм – уже не династический, а националистический, патриотизм *граждан*, а не *верноподданных*. Переход от “народной войны” против “тирании”, навязываемой извне, к борьбе против “тирании”, навязываемой изнутри, казался совершенно естественным: “Неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, спасшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении Отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?” (М. П. Бестужев-Рюмин). Декабристская “революционность” непосредственно проистекала из их патриотизма: “Предлог составления тайных политических обществ есть любовь к Отечеству” (С. П. Трубецкой); восстание 14 декабря было “делом исключительно патриотической политики” (В. С. Толстой).

Патриотизм стал для декабристов своего рода гражданской религией. М. Ф. Орлов в частном письме женщине (княгине С. Г. Волконской) проповедует: “Прежде всего, каждый русский должен быть русским во всем. Во всем должна господствовать идея родины. Именно ей он должен посвятить свои усилия, свои успехи, свои надежды”. К. Ф. Рылеев полагал для приема нового члена в Северное общество достаточным основанием то, что кандидат “пламенно любил Россию” и “для благ ее готов был на всякое самоотвержение”. Патриотическая экзальтация в Тайном обществе доходила иногда до такой степени, что Ф. Ф. Вадковский на одном из собраний выразил готовность принести в жертву родную мать, если того потребует польза России. Конечно, это лишь фигура речи, но она очень характерна для декабристского дискурса. А вот пример уж явно не филологический, а экзистенциальный. П. И. Пестель в письме родителям незадолго до казни исповедально признавался: “Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно любил мое отечество, я желал его счастья с энтузиазмом”, и – права современная исследовательница О. И. Киянская – “не верить этому признанию нет оснований”.

Именно государственный, националистически окрашенный патриотизм был основным источником оппозиции декабристов курсу Александра I после 1814 г.

Во-первых, их раздражение вызывала вдохновляемая и конструируемая императором легитимистская политика Священного союза – “подпорная, вспомогательная политика для восстановления государей”, которая “была противна интересам России” и на деле подчиняла последние интересам Австрии (“ничто меня столько не оскорбляло, как явное сие господство и влияние Венского кабинета над нашим” – слова А. В. Поджио), вообще преимущественное внимание Александра к общеевропейским делам в ущерб собственно российским, его частые и продолжительные отлучки из России. Именно этим вызван специальный пункт в первой редакции “Конституции” Н. М. Муравьева о том, что “Император ни в каком случае не имеет права выехать из пределов Отечества, даже в заморские владения”, “выезд Императора из России не иначе представляется, как оставлением оной и отречением от звания Императорского”. Раздражали молодых победителей Наполеона и щедрые подарки европейским державам за счет России: “При вторичном занятии в 1815 году Парижа огромная контрибуция была взыскана с Франции, часть ее была издержана на покупку сукна солдатского в Англии, другая часть была отдана Австрии за претерпенные ею бедствия второго неприятельского нашествия. Огромная полоса России тогда еще представляла одни развалины от на-

шествия врагов в 1812 г.” (М. Муравьев-Апостол). Экономическая политика императора, явно приносившая пользу иностранной и ущерб отечественной коммерции, также вызывала их резкую критику.

В среде декабристов господствовало убеждение, что Александр “ненавидит Россию”. Возмущение деятельностью императора приняло особенно острый характер в связи с его польской политикой. Так называемый “московский заговор” 1817 г., когда среди членов Союза спасения впервые возникла идея цареубийства (А. Н. Муравьев предложил бросать жребий о том, кто должен его совершить, а И. Якушкин объявил, что “решился без всякого жребия принести себя в жертву”), был вызван слухом о том, что Александр “намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить к Польше” и даже, “ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву”. На фоне тех невероятных привилегий, которые Царство Польское получило благодаря явному расположению императора (конституция, собственная армия и администрация, обильные финансовые вливания), казалось вполне вероятным, что Александр “имел в самом деле намерение располагать достоинством России” — тем более что прецедент уже был — “прежде он отделил Выборгскую губернию в состав великого княжества Финляндского” (М. С. Лунин). Последний факт (и преимуществе перед русскими “завоеванных финляндцев”) тоже, кстати, вызывал активное обсуждение (и осуждение) в Тайном обществе.

С другой стороны, именно переговоры с Польским патриотическим обществом, на которых шла речь и о территориальных уступках полякам, вызвали тяжкое обвинение в приговоре Верховного уголовного суда лидеру Южного общества Пестелю (“участвовал в умысле отторжения областей от империи”). Надо ли полагать, что позднее декабристы отказались от своего принципиального государственничества?

Пестель в “Русской Правде” определял границы России, исходя из двух принципов: 1) “права народности” (то есть права того или иного народа на самостоятельное политическое бытие) и 2) “права благоудства” (то есть права больших государств подчинять себе малые народы, неспособные к государственной самостоятельности). Из всех народов империи только польский наделялся “правом народности”. Однако независимость Польша получала при неукоснительном соблюдении “правила благоудства” для России.

Нет ничего более нелепого, чем видеть в Пестеле некоего идеалиста-интеллигента, поборника польской свободы, каким позднее выступал Бакунин (и отчасти Герцен), логика Павла Ивановича — логика государственно-националистического прагматизма, применительно к данному вопросу хорошо сформулированная его ближайшим помощником М. Бестужевым-Рюминым: лучше “иметь благодарных союзников”, чем “тайных врагов”. В планируемом автором “Русской Правды” русском национальном государстве поляки, с их многовековой традицией самостоятельной государственности, развитой национальной культурой и комплексом “полноценных” европейцев по отношению к русским “варварам”, были бы лишним и крайне вредным элементом (каковым, кстати, они являлись и в составе Российской империи). Просто “переварить”, “русифицировать”, при очевидной слабости наличного русификаторского потенциала, Польшу было невозможно.

Кроме того, в пестелевском проекте будущая независимая Польша контролируется Россией во всех отношениях, вплоть до формы правления и социального строя (порой этот проект кажется почти до деталей реализовавшимся пророчеством о практике взаимоотношений ПНР и СССР), что должно было свести к нулю весь возможный геополитический ущерб этого решения для русских интересов.

Впрочем, следует отметить, что проект Пестеля вызвал горячие возражения многих его соратников, не только “северян” (Н. Муравьев, например, указывал, что не следовало “уступать приобретений и собственности России и входить в сношения с иноплеменниками <...> тем более, что уступка сия произошла бы совершенно чуждой, а впоследствии, вероятно, и враждебной России державе”), но и “южан”, не согласных ни на малейшее сокращение территории империи. Оппоненты Пестеля внутри декабристского движения считали, что Польша не только должна остаться в составе России, но, более того, нужно присоединить к империи и те ее части, которые находились под властью Австрии и Пруссии. Возмущение вызвал сам факт переговоров Пестеля и Бестужева-Рюмина с Польским патриотическим обществом (М. Орлов разорвал отношения с Бестужевым, сказав ему: “Вы не русский, прощайте”).

Но даже самые рьяные империалисты понимали, что статус кво Польши неприемлем для национальной России. Альтернативой пестелевскому национально-прагматическому “размежеванию” стало панславистское “слияние”.

Наиболее детально панславистский вариант решения польского вопроса был сформулирован много позже 14 декабря в сочинении М. Лунина, написанном в Сибири, “Взгляд на польские дела г-на Иванова, члена Тайного общества Соединенных славян” (1840). Лунин одинаково не одобряет и польских повстанцев 1830–1831 гг., и правительственные репрессии. Будущее Польши видится ему в тесном взаимовыгодном союзе с Россией на правах автономии (по образцу Шотландии и Ирландии в составе Великобритании). Этот союз может стать основой “общественного движения, которое должно связать воедино славянские племена, рассеянные по Европе, и содействовать духовной революции, той, что должна предшествовать всякому изменению в политическом строе, чтобы сделать его выгодным”.

Менее известны высказывания А. Поджо, который мыслил в том же духе и на склоне лет, учитывая новейшие политические реалии. В письме М. С. Волконскому (сыну декабриста С. Волконского) от 4 марта 1868 г. он писал, что европейцы больше всего боятся “осуществления <...> проекта <...> о признании Польши и дарования ей, по примеру Венгрии, полной автономии (конечно, разумно без собственной армии). Тогда только запад вздрогнет и почувствует свое бессилие, свою ничтожность! Не усмиренная, а примиренная Польша грозит тем окончательным великим шагом, который должен поставить Россию во главу славянского, теперь рассеянного мира. Сплотить их на автономическом современном новом праве – вот наша единственная политика, цель великая, святая! Вот где наша сила и горе германцам и латинцам всем вкуче, если бы они восстали против такого рода обрусения!”

Весьма характерно, что позиция Лунина и Поджо по польскому вопросу вызвала неприятие Герцена, целенаправленно создававшего свой миф о декабристах и тесно связанного с польским революционным движением. Цитированная выше работа Лунина не была опубликована в издании Вольной русской типографии, несмотря на актуальность темы и громкое имя автора; Герцен отозвался о ней неодобрительно: дескать, увы, даже и “передовые люди” “становились, не замечая того, на узкую государственно-патриотическую точку зрения”. Старательно умалчивал Александр Иванович и о реакции декабристов в 1817 г. на слух о возможном отторжении западных русских губерний в пользу Польши. Восхищавшийся сначала Поджо, с которым он был знаком лично, издатель “Колокола” вскоре разочаровался в нем из-за разногласий “на политику русского правительства”. С герценовскими купюрами и продолжает воспринимать декабристов массовое сознание.

Программные документы декабристов проникнуты заботой о территориальной целостности страны, о ее единстве и неделимости. В частности, именно этой заботой продиктована резкая полемика Пестеля против федерализма в “Русской Правде”. Федеративное государство потому, с его точки зрения, плохо, что уже в самом его устройстве содержится “семя разрушения”: “Каждая область составляя в федеративном Государстве так сказать маленькое отдельное Государство слабо к целому привязана будет и даже во время войны может действовать без Усердия к общему составу Государства; особенно есть ли лукавый Неприятель будет уметь прельстить ее обещаниями о каких нибудь особенных для нея выгодах и преимуществах. Частное Благо области хотя и Временное, однакоже все таки сильнее действовать будет на воображение ея Правительства и Народа нежели общее Благо всего Государства не приносящее может быть в то время очевидной пользы самой области <...> Слово Государство при таковом образовании будет слово Пустое ибо никто нигде не будет видеть Государства но всякой везде только свою частную область; и потому любовь к отечеству будет ограничиваться Любовью к одной своей области”. Для России же федерализм особенно опасен: “Стоит только вспомнить, из каких разнородных частей сие огромное Государство составлено. Области его не только различными Учреждениями управляются, не только различными Гражданскими Законами судятся, но совсем различные языки говорят, совсем различныя веры исповедуют, жители оных различныя происхождения имеют, к различным Державам некогда принадлежали; и потому ежели сию разнородность еще более усилить чрез федеративное образование Государства, то легко предвидеть можно что сии разнородные Области скоро от Коренной России тогда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое

Могущество, Величие и Силу, но даже может быть и бытие свое между большими или Главными Государствами”. Таким образом, “соединяя все сии обстоятельства в общее соображение, постановляется Коренным Законом Российскаго Государства что всякая мысль о федеративном для него Устройстве отвергается совершенно яко пагубнейший вред и величайшее Зло”.

Но и в конкурирующем проекте – “федералистской” “Конституции” Никиты Муравьева не меньше великодержавности, чем в “унитаристской” “Русской Правде”. “Державы”, на которые делится будущий “Российский союз”, не имеют права “заключить какой-либо союз, договор или трактаты не только с иностранными Государствами, но даже и с другою Державою Российскаго союза”, “заключать мир или объявлять войну”, “чеканить монету”, “содержать в мирное время войско или вооруженных кораблей без позволения Верховнаго Народнаго Веча” и т. д. Более того, Н. М. Дружинин справедливо отметил, что Муравьев, во-первых, “избегает назначать столицами крупные города, которые служили политическими центрами самостоятельных народностей: столицю Балтийской державы он делает не Ригу, а Великий Новгород, вместо Киева он назначает Харьков; Финляндия оказывается сосредоточенной вокруг Петербурга, Украина и Литва – разорванными на части, Кавказ – искусственно соединенным с южными губерниями”, а во-вторых, его федерация состоит не из национальных автономий, а из “естественных хозяйственных комплексов”, то есть он руководствуется “не идеей самоопределения национальностей, а задачей свободного экономического развития государства”.

В области внешней политики декабристы после прихода к власти также собирались проводить последовательный великодержавный курс. Кардинально отказываясь от принципов Священного союза, они в противовес выдвигали идею геополитической самодостаточности России, что нимало не отрицало внешнеполитической активности. Напротив, “для твердаго установления Государственной Безопасности” и приобретений разного рода геополитических и геоэкономических выгод Пестель планировал присоединить к России Молдавию, причерноморский Кавказ, казахские (“киргиз-кайсацкие”) степи в районе Аральскаго моря и “часть Монголии, так, чтобы все течение Амура <...> принадлежало России”. “Далее же”, подчеркивает Пестель, “отнюдь пределов не распространять”. Впрочем, среди его планов было и создание буферного федеративнаго Царства Греческаго, в состав котораго, кроме собственно Греции, вошли бы земли современной Румынии, Болгарии, Македонии, Сербии, Боснии и Албании.

Рылеев и Д. И. Завалишин были энтузиастами расширения русских владений в Северной Америке (Пестель их энтузиазма не разделял и планировал отказаться даже от тех, которые уже имелись). Рылеев, “правитель дел” в Российско-Американской компании, в “Записке о недопущении иностранных купцов к занятию промыслами на территории, управлявшейся Российско-Американской компаниею” (1824) отстаивал в правительственных кругах интересы русской торговли, поддерживал проект декабриста В. П. Романова об исследовании Аляски. Завалишин писал из тюрьмы Николаю I: “Калифорния, поддавшаяся России и заселенная русскими, осталась бы навсегда в ее власти. Приобретение ее гаваней <...> позволяло содержать там наблюдательный флот, который бы доставлял России владычество над Тихим океаном и китайской торговлей <...> ограничило бы влияние Соединенных Штатов и Англии”.

Своего государственнаго патриотизма декабристы не утратили даже в тюрьмах и ссылке, большинство из них могло бы повторить слова Лунина: “Заключенный в казематах, десять лет не переставал я размышлять о выгодах родины”. Они, по меткому выражению П. А. Вяземскаго, как бы “увеличились и оокостенели в 14 декабря” и продолжали воспринимать события политической жизни не с точки зрения репрессированных диссидентов. Тот же Лунин в 1840 г., резко критикуя правление Николая I, делает, тем не менее, одобрительную оговорку по поводу его внешней политики 1820–1830-х гг., которую явно предпочитает курсу его старшаго брата. В частности, Лунин приветствует действия России на Кавказе. В письме к сестре (1838) он осуждает ее нежелание согласиться с мыслью о службе там ее старшаго сына: “Южная граница наша составляет самый занимательный вопрос настоящей политики. <...> Это была мысль Адашева и Сильвестра. <...> Каждый шаг на север принуждал нас входить в сношения с державами европейскими. Каждый шаг на юг вынуждает входить в сношения с нами. В смысле политическом взятие Ахалциха важнее взятия Парижа. <...> служба на Кавказе представляет твоему сыну случай

изучать военное искусство во многих его отраслях и принять действительное участие в вопросе важного достоинства для будущей судьбы его отечества”.

События на Кавказе привлекали к себе жадное внимание писателя-романтика А. А. Бестужева (Марлинского), писавшего из Якутска брату Павлу – участнику боевых действий с турками (1828) – прямо-таки с кровожадным упоением: “Итак, с долин Армении, на которых опиралась радуга завета, – вы понесли заветные знамена победы в пределы Турции, и уже вихорь-богатырь ваш сорвал месяц с Карсу и Ахалциха! <...> Ты, как мне пишут, резался на улицах Карса. Меня зависть берет, когда я, глотая чад вместо порохового дыма, воображаю ваши подвиги. Хоть бы из-за угла поглядеть! <...> Не могли участвовать ни делом, ни словом в битвах с неверными, сделай одолжение, сверни хоть из этого листка пару боевых патронов и пусти их за меня к неприятелю. Бьюсь об заклад, что они вцепятся в самую правоверную бороду удалых байрактаров <...>”. Вскоре, однако, мечты Александра Александровича сбылись: в 1829 г. по его прошению он был переведен рядовым на Кавказ, участвовал во множестве боев с горцами и погиб в одном из них в 1837 г. В 1840 г. добровольцем на Кавказ просился М. А. Фонвизин, но получил отказ.

Напомним, что окончательное завоевание Кавказа планировалось Пестелем в “Русской Правде”, так что декабристы в данном случае мыслили совершенно в соответствии со своими программными установками. То же касается и присоединения земель вокруг Амура, произведенного Н. Н. Муравьевым-Амурским – покровителем ссыльных декабристов (на Кавказе им благоволили А. П. Ермолов и А. А. Вельяминов), горячо одобрявшим его деятельность.

Европейская политика Николая I 1840–1850-х гг., во многом реанимировавшая худшие традиции Священного союза, у большинства декабристов вызывала осуждение. Тем не менее, среди них находились пламенные патриоты, и здесь готовые радоваться победам русского оружия. Скажем, В. Л. Давыдов, пребывая в Красноярске, приветствовал подавление венгерской революции в 1849 г.: “Наш городок <...> вышел из обычной летаргии, чтобы отпраздновать победу наших войск и славное окончание войны. Мое сердце старого солдата дрогнуло при этих счастливых новостях, и я поспешил иллиминировать наше скромное жилище. Наш маленький Алеша был в восторге, видя фонарики, и хлопал в ладоши, крича: “Наша взяла” <...>”.

Крымская война с новой силой всколыхнула великодержавные чувства декабристов. Несмотря на крайне отрицательное отношение к николаевскому режиму того времени, они страстно переживали за ее исход. Некоторые (например, М. А. Назимов) безуспешно просились служить хотя бы в ополчение. С. Г. Волконский писал И. И. Пущину, что он “хоть сейчас готов к Севастополю, лишь бы взяли”. В. И. Штейнгейль почти до самого конца войны не сомневался, что “венец будет блистателен для России”; “если мы подлинно “со Христом и за Христа!”, бояться <...> западных ренегатов нечего”; “Скорее думаю, что наступит черед для современного Карфагена” (то есть Англии). Преисполненный надежд А. Н. Муравьев (“может быть, мы услышим теперь, что знамена наши развеваются на Босфоре”) сокрушался: “Если бы не мои глаза, я был бы, конечно, там, куда честь и любовь к Отечеству призывают каждого русского <...> ибо в Севастополе <...> находится ныне подлинное Отечество каждого истинного русского, – это оттуда нужно изгнать подлых агрессоров, этих безумцев, которые не знают, во имя кого и чего проливают они свою кровь <...>”. С. П. Трубецкой сообщает Г. С. Батенькову (1855), что в Иркутске, где жили многие сосланные декабристы, “война и ожидание ее последствий всегда предметом разговоров, когда сходимся. Нетерпеливость выражается различным образом, и каждый хотел бы изгнать неприятеля из Отечества по своему соображению <...> бывают самые сильные прения”. Н. А. Бестужев писал Д. Завалишину (1854): “Меня оживили добрые известия о славных делах наших моряков, но горизонт омрачается. Не знаю, удастся ли нам справиться с французами и англичанами вместе, но крепко бы хотелось, чтобы наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех частях света”. М. А. Бестужев впоследствии вспоминал о старшем брате: “Успехи и неудачи севастопольской осады его интересовали в высочайшей степени. В продолжение семнадцати долгих ночей его предсмертных страданий я сам, истомленный усталостью, едва понимая, что он мне говорил почти в бреду, – должен был употреблять все свои силы, чтобы успокоить его касательно бедной погибающей России. В промежутки страшной борьбы его железной, крепкой натуры со смертью он меня спрашивал: – Скажи, нет ли чего утешитель-

ного?”. “Севастополь с ума и сердца не сходит”, – признавался И. Пущин.

Из тех материалов, которые мне удалось изучить, можно сделать вывод, что только один декабрист занимал в период Крымской войны четкую пораженческую позицию – А. Ф. Бриген. Но этот случай – классический пример того, что исключение лишь подтверждает правило.

Достаточно единодушно отреагировали оставшиеся в живых декабристы на польский мятеж 1863 г. А. Н. Муравьев всецело одобрял меры своего брата М. Н. Муравьева-Виленского, пресловутого “Вешателя” (между прочим, бывшего члена Союза спасения и Союза благоденствия, одного из главных авторов Зеленой книги последнего), по подавлению мятежа в Западном крае: “Брат Михаил действует славно”; “распоряжения брата Михаила великолепны”; “брату Михаилу, по мнению моему, надобно поставить памятник, не за одно только усмирение юго-западной России, но за спасение Отечества. Подобными мерами, думаю, что восстановить можно бы и Царство Польское, т. е. обратить его в русские губернии, с русскими правителями”. Е. П. Оболенский предлагал в дальнейшем по отношению к полякам самые радикальные меры: “<...> если они не захотят слиться с нами в одну нераздельную семью, то мы должны поглотить их национальность и силою, и нашей численностью. <...> Неужели они должны исчезнуть с лица земли русской, – по весьма простой причине, – мы не можем в мире жить с ними? <...> Что же делать <...> самозащита есть одна из первых обязанностей всякого человека и гражданина”. Не трудно заметить, что в вышеприведенных цитатах господствует “антипестелевская” точка зрения на польский вопрос, высказываний сторонников иного взгляда обнаружить не удалось.

А. Поджио в своих письмах конца 1860-х гг. уделял большое внимание (“мой конек”) экономической политике России, проповедуя отказ от сырьевой модели развития и освобождение “от ига европейского, в смысле мануфактурного, промышленного его давления”: “Полноте торговать салом и пенькой – пора, пора дать самобытность России во всех отношениях; пора возвыситься до шелковых, шерстяных и бумажных тканей! Азия под боком, доставит вам и шелк, и хлопок, а шерсть ваша убивается австралийской, и нечего ее посылать <...> за границу, а самим вырабатывать! <...> хочу <...> видеть Россию государством промышленным и потому независимым, самобытным <...> Сбережение по всем отраслям, направить капиталы на развитие производительных сил; создать промышленность и довести до того, чтобы мы могли выдерживать соперничество, которое нас теснит и вышибает со всех рынков, где мы затрачиваем последнее наше золото; возвести земледелие на степень науки для удешевления зерна; вот бегло отчасти наброшенные средства не то чтобы упрочить шаткость бедного нашего бумажного рубля, а чтобы осуществить великую цель независимости России от Европы в отношении ее превосходства в умственном и вещественном смысле”.

Наиболее поздние по времени из обнаруженных мной комментариев декабристов по поводу политики России принадлежат М. Муравьеву-Апостолу, успевшему одобрить войну за освобождение балканских славян в 1877–1878 гг.: “Кровь Христианская пролилась потоками, она искупила освобождение Славян от Турецкого ига. Славяне наши единственные союзники в Европе, мы не можем не заступиться за кровь, пролитую братьями нашими <...> Я отказался от чтения французских газет, они осуждали Сербию, Черногорию за то, что объявили войну туркам. Чем это кончится, я уверен, как в 1812 г., что святое дело Свободы и Человечества восторжествует!”; “Как наша Россия хороша умиленно своим заступничеством за угнетенных братьев!”; “Наша молодец-армия совершила Суворовский подвиг, зимой перешла Балканы!”; “1877 год начинает новую историческую эпоху <...>”; “Бог предоставил России разрешить наконец” “Восточный вопрос”.

“ОТСТРАНЕНИЕ ИНОЗЕМЦЕВ”

На всех этапах развития декабристского движения, в подавляющем большинстве его программных документов обязательно присутствуют пункты, направленные против иностранцев вообще. Это, прежде всего, было вызвано предпочтением, которое оказывал последним Александр I в противовес русским дворянам, и их заметным присутствием на ключевых постах в государственном аппарате и армии. П. Г. Каховский даже перед казнью в письме Ни-

колаю I все еще осуждал “явное предпочтение, делаемое Правительством всем иностранцам без разбору <...> простиительно надеяться, что у нас, конечно, нашлись бы русские заместить места государственных, которыми теперь обладают иностранцы. Очень натурально, что такое преобладание обижает честолюбие русских и народ теряет к Правительству доверенность”.

Уже в проектах Ордена русских рыцарей, составленных М. А. Дмитриевым-Мамоновым, среди целей организации называются “лишение иноземцев всякого влияния на дела государственные” и “конечное падение, а если возможно, смерть иноземцев, государственные посты занимающих”. Союз спасения также настаивал на необходимости “отстранения иноземцев от влияния в государстве”. Зеленая книга Союза благоденствия запрещает принимать в общество нехристиан и “иноземцев”, если только те не оказали важной услуги России. Кроме того, одна из задач Союза состояла в том, чтобы “отвращать родителей от воспитания детей в чужих краях”. Устав Южного общества требует “не принимать в общество никого кроме русских или тех, которые по обстоятельствам совершенно привязались к русской земле”.

В “Русской Правде” иностранцам запрещается “иметь в России какое бы то ни было Недвижимое Имущество”, “пользоваться в России правами Политическими предоставляемыми одним только Российским Гражданином”, “вступать в Государственную Службу или какую-нибудь отрасль правления и продолжать оную, исключая Министерство Просвещения”. В “Конституции” Никиты Муравьева “иностранец, не родившийся в России” имеет право “просить себе гражданства Российскаго”, лишь прожив в ней “7 лет сряду” и “отказавшись наперед клятвенно от правительства, под властью которого прежде находился”. Быть избранным в местные законодательные органы страны он может только еще через 7 лет, а в центральные — через 9 лет. Иностранец же, не имеющий гражданства, “не может исполнять никакой общественной или военной должности в России, не имеет права служить рядовым в войске Российском и не может приобрести земель”. Гражданство аннулируется навсегда в случае вступления “в подданство иностранного государства” и принятия “службы или должности в чужой земле без согласия своего правительства”, наконец, даже “если гражданин без согласия Веча примет подарок, пенсию, знак отличия, титул или звание почетное, или приносящее прибыль от иностранного правления, Государя или народа”. Кроме того, “никакое иностранное общество не может иметь в России подведомственных себе обществ или сотовариществ”.

На фоне декабристской неприязни к иноземцам вообще ярко выделяется их почти повальная враждебность к немцам, точнее, к “русским немцам”, немцам, находящимся на русской службе. Важно понять, что “немцеество” декабристов не было этнофобией по кровному признаку, в противном случае, невозможно объяснить присутствие в Тайном обществе Пестеля, Штейнгейля, братьев Кюхельбекеров и других этнических немцев (хотя, в общем, прав П. Н. Свиустову, указывая на “факт, что в списке членов его встречается так мало фамилий нерусских”). Дело также не в конфессиональных противоречиях: Пестель и Кюхельбекеры были лютеранами. Водораздел между “хорошими” и “плохими” немцами проводился по критериям политического и культурного национализма: стремится ли тот или иной человек “германского происхождения” к ассимиляции среди русских, к членству в (становящейся) русской нации или же он ориентируется на влиятельную в верхах корпорацию своих единоплеменников, четко отделяющую себя от стержневого этноса Российской империи. Корпорация эта охотно служила самодержавию, гарантировавшему ее привилегии, и была для нее надежной опорой. Таким образом, проблема “русских немцев” имела по преимуществу социально-политический характер: поддерживая “деспотическую власть” (которая, в свою очередь, поддерживала их в ущерб русским дворянам), они являли собой очевидных (и объективных) врагов национального государства, к которому стремились декабристы.

“Германофобия” царила среди участников преддекабристской Священной артели. Довольно характерно, что “пробным предложением” А. Н. Муравьева, с которого началась история Союза спасения, стало создание тайного общества “для противодействия немцам, находящимся на русской службе”. Антинемецкие настроения сохранялись и на самых поздних этапах существования декабристских организаций. Так, П. А. Вяземский свидетельствует, что причиной его отказа вступить в Северное общество был прежде всего “немецкий вопрос”: “Пропагандисты и вербовщики находили, между прочим, что я недостаточно ненавижу немцев, и заключили, что от меня проку ожидать не-

чего. Мне говорили после, что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня опущать и испытать. Они у меня обедали. Разговор коснулся немцев в России. В продолжение споров я сказал наотрез, что не разделяю этих *lieux communs* [общих мест], которые в ходу у нас". Д. Завалишин вспоминал, что незадолго до 14 декабря, при обсуждении "манифеста о перевороте" "были и такие", которые требовали в нем "выразиться резко и громко против немцев и даже требовать от них перемены фамилии на русскую. Замечательно, что из числа самых горячих защитников подобного мнения были именно обрусевшие немцы". Можно также вспомнить агитационную песню Рылеева и А. Бестужева "Царь наш немец русский, / Носит мундир прусский". На юге немецкую тему использовал для пропаганды среди солдат рядовой Григорий Крайников, объясняя, что "все русские Офицеры, собираясь на маневрах, согласились освободить и себя и нижних чинов от мучений начальников, кои по большей части все Немцы и презирают русских, что впредь Начальниками будут из российских помещиков".

Другой объект декабристской ксенофобии – поляки, что легко объясняется остротой польского вопроса, о которой подробно говорилось выше. Дарование "конституции почитаемой за непримиримого врага России, побежденной и завоеванной Польше прежде, нежели она была дана победительнице ее, самой России" (Завалишин) только усилило резкую ревность к "сарматам", многие из которых сражались на стороне Наполеона. М. Орлов в письме П. Вяземскому возмущался даже тем, что Карамзин в своей "Истории" "дает Киеву польское происхождение <...> это не простительно в нынешних обстоятельствах, когда каждый россиянин должен с римским мужем заключать всякую речь свою сими словами: "Delenda est Carthago" [Карфаген должен быть разрушен]". Лунин дрался на дуэли (за которую его исключили из гвардии) с поляком, оскорбительно отозвавшимся о России, и считал этот поединок единственным, где он был прав. При слиянии Южного общества и Общества соединенных славян "южане" потребовали (правда, безуспешно) от последних исключить из своего состава всех поляков.

Полонофобия не исчезла у многих декабристов и в ссылке, где их товарищами по несчастью оказались повстанцы 1830 г. Конечно, общая участь сблизжала русских и поляков, но огонь "распри" продолжал тлеть. С. Волконский жаловался в письме И. Пущину (1855), что в доме С. Трубецкого "всегда нашествие сарматов, а у меня сердце больно к ним не лежит и боюсь взрыва моих убеждений. Пусть они высказывали явно свою вражду к нам, я бы сносил это, но из-за угла метать камнем – не снесу и не прощаю". "Влиянию, научению поляков здешних" Волконский приписывал сепаратистские настроения в Сибири ("борьба сибиряков против начала русского"). Д. Завалишин разоблачал стремление сыльных поляков "вредить России, под предлогом вражды к правительству <...> Привлекая сочувствие русских либеральными идеями, они пустились извлекать себе выгоду даже из всех возможных административных злоупотреблений и сделались сознательными орудиями людей, наиболее угнетавших народ <...> они дошли до того, что один из них <...> стал делать и сбывать фальшивые ассигнации". Пущина раздражали его соседи-поляки и, когда они получили амнистию, он был "больше рад за себя, нежели за них. Чувство дурное, но не умею его скрыть <...>". И. Д. Якушкин так описывал своих польских знакомых: "преславные молодые люди, и я не знаю за ними никакого другого недостатка, как только то, что они поляки, но, к сожалению, недостаток этот немаловажный, и трудно им от него избавиться". В качестве любопытного курьеза стоит также привести мнение М. Муравьева-Апостола по поводу гибели М. А. Милорадовича: "В России только поляк Каховский мог хладнокровно убить нашего героя, любимого солдатами". Матвей Иванович ошибался, Каховский не был поляком, но показательное желание списать неприятный для декабристов эпизод на недругов-"сарматов".

Завершением сюжетов о "немцеодстве" и полонофобии декабристов может служить обобщающая цитата из Волконского: "от остзейцев, от ляхов нет радушного прислужения русскому делу".

Другие этнонациональные фобии декабристов были более или менее локальны. Скажем, антисемитизм среди них не имел массового характера, ибо еврейский вопрос не приобрел еще в ту пору остроты, свойственной пореформенному времени. В письмах и дневниках Н. И. Тургенева можно встретить отдельные юдофобские реплики, как политического, так и бытового характера. Например, в письме к брату: "Я был того мнения о жидах, как и ты те-

перь; но с некоторого времени переменял его, в особенности, посмотрев на привилегированных жидов во Франкфурте и Пруссии. Они портят торговлю и вредят доброй промышленности христиан. В юных государствах, какова Россия, они никогда существовать не должны. Пример вреда их представляет Польша. В Германии все того мнения, чтобы нигде им не давать равных прав с другими гражданами; так думают там и либеральные люди и [реакционеры]. А там жиды лучше наших, и народ промышленнее нашего”.

Пестель в “Русской Правде” уделяет евреям некоторое место, отмечая в качестве их главной особенности то, что они “неимоверно тесную связь между собою неизменно сохраняют, никогда друг друга не выдают ни в каких случаях и обстоятельствах и всегда готовы ко всему тому что собственно для их общества может быть выгодно или полезно”, особенность эта вредная, ибо “дружная связь между ими то последствие имеет что коль скоро они в какое нибудь место допущены, то неминуемо сделаются монополистами и всех прочих вытеснят. Сие ясно видеть можем в тех губерниях где жительство свое они имеют. Вся торговля там в их руках и мало там крестьян, которые бы посредством долгов не в их власти состояли; от чего и раззоряют они ужасным образом край, где жительствоуют”. Таким образом, “Евреи составляют в Государстве так сказать свое особенное совсем отдельное Государство и притом ныне в России пользуются большими правами нежели сами Христиане. Хотя самих Евреев и нельзя винить ни в том что они сохраняют столь тесную между собою связь, ниже в том что пользуются столь большими правами коих даровало им прежде Правительство, не менее того не может долее длиться таковой порядок вещей, утвердивший неприязненное отношение Евреев к Христианам и поставивший их в положение противному порядку в Государстве”.

Пестель предлагает два варианта решения еврейского вопроса (и оба, надо сказать, весьма туманные). “Первый состоит в совершенном изменении сего порядка. <...> Паче же всего надлежит иметь целью устранение вредного для Христиан влияния тесной связи Евреями между собою содержимой ими противу Христиан направляемой и от всех прочих граждан их совершенно отделяющей. Для сего может Временное Верховное Правление ученых рабинов и умнейших Евреев созвать, выслушать их представления и потом меропринятия распорядить дабы вышеизъясненное зло прекращено было и таким порядком заменено, который бы соответствовал в полной мере общим Кореным правилам имеющим служить основанием политическому зданию Российскаго Государства. Ежели Россия не выгоняет Евреев, то тем более не должны они ставить себя в неприязненное отношение к Христианам. Российское Правительство хотя и оказывает всякому человеку защиту и Милость но однакоже прежде всего помышлять обязано о том чтобы никто не мог противиться Государственному Порядку, частному и общественному Благодействию”. “Второй Способ зависит от особенных обстоятельств и особенного хода Внешних Дел и состоит в содействии Евреям к Учреждению особеннаго отдельнаго Государства, в какой либо части Малой Азии. Для сего нужно назначить Сборный пункт для Еврейскаго Народа и дать несколько войска им в подкрепление. Ежели все русские и Польские Евреи соберутся на одно место то их будет свыше двух миллионов. Таковому числу Людей ищущих отечество не трудно будет преодолеть все Препоны какия Турки могут им Противупоставить и пройдя всю Европейскую Турцию перейти в Азиатскую и там заняв достаточныя места и Земли устроить особенное Еврейское Государство”. Впрочем, добавляет Пестель, “сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно-генияльной предприимчивости то и не может быть оно поставлено в непрерывную обязанность Временному Верховному Правлению и здесь упоминается только для того об нем чтобы намеку представить на все то что можно бы было сделать”. Н. Муравьев предлагал дать евреям гражданские права, но только в пределах черты оседлости, вопрос же о существовании последней должен был решаться общероссийским законодательным органом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

И государственный патриотизм, и ксенофобия были вполне традиционны для русской политической мысли XVIII – начала XIX в. (достаточно вспомнить в первом случае Н. М. Карамзина, а во втором – Ф. В. Ростопчина), своеобразии декабристского национализма, его стержень состояли в другом – в но-

вой для России модернистской демократической концепции нации, понимаемой как совокупность равноправных граждан, охватывающей весь этнос, и как единственный источник суверенитета. Таким образом, отвергались и монархическая (“вотчинная”) трактовка нации (как совокупности подданных самодержца, который и является источником суверенитета), и ее аристократический вариант (где под нацией понималась только социальная элита, в русских условиях – дворянство).

Пафос декабризма был направлен против самодержавного “обращения с нацией как с семейной собственностью” (Лунин). “Для Русского больно не иметь нации и все заключить в одном Государе”, – писал Каховский перед казнью Николаю I. Оба главных программных документа декабризма утверждают демократическое понимание нации. “Конституция” Н. Муравьева начинается с утверждения того, что “Русской народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства <...> Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя”. В пестелевской “Русской Правде” говорится: “Народ есть совокупность всех тех Людей, которые принадлежат одному и тому же Государству, составляют Гражданское Общество имеющее целью своего существования, возмощие Благоденствие Всех и каждого <...> А по сему Народ Российский не есть принадлежность или Собственность какаго либо лица или Семейства. На против того Правительство есть принадлежность Народа и оно учреждено для Блага Народнаго а не Народ существует для Блага Правительства”.

Нация равноправных граждан в декабристских проектах управляет сама собой посредством представительной демократии, через систему многоступенчатых выборов. На низовом же уровне основой национальной солидарности становится волостное самоуправление. Даже получить российское гражданство иностранец может только на волостном уровне.

Национальное единство невозможно без социальной и юридической однородности нации. Крепостное право, доля русских на господ и рабов, тем самым раскалывало нацию на враждебные классы, поэтому требование его отмены, ключевое для декабристов, имело не только социально-уравнительное и либерально-гуманитарное, но и национально-государственное значение. В декабристских проектах не только сами сословия, но и их названия заменяются “названием гражданина Русскаго” (в муравьевской “Конституции”) или “Российского гражданина” (в пестелевской “Русской Правде”).

Нация декабристов – это, безусловно, *гражданская* нация. Но прежде всего – это *русская* гражданская нация, подразумевающая не только социально-юридическую ассимиляцию сословного деления к единому понятию русского (российского) гражданства, но и этническую ассимиляцию всех народов России к некоему единому стандарту русскости, *русификацию*. Русскость декабристами понимается не биологически (но и не конфессионально), а культурно-политически, ее главные составляющие – владение языком и следование законам. В “Конституции” Н. Муравьева говорится: “Через 20 лет по приведении в исполнение сего Устава Российской Империи никто, не обучившийся русской грамоте, не может быть признан гражданином”.

Более детально программа русификации разработана у Пестеля, четко формулирующего цель своей национальной политики: “Все племяна должны слиты быть в один Народ”, “при всех мероприятиях Временнаго Вержховнаго Правления в отношении к различным Народам и племенам Россию населяющим безпрестанно Должно непременною целью иметь в виду чтобы составить из них всех только Один Народ и все различные оттенки в одну общую массу слить так чтобы обитатели целаго пространства Российскаго Государства все были Русские”. В качестве средств для этого указываются. 1) “На целом пространстве Российскаго Государства” должен господствовать “один только язык российский: Все сношения тем самым чрезвычайным образом облегчатся; Понятия и образ мысли сделаются однородные; Люди объясняющиеся на одном и том же языке теснейшую связь между собою возымеют и однообразные составлять будут один и тот же народ”. 2) “Так как ныне существующее различие в названиях Народов и Племен, Россию населяющих всегда составлять будет из жителей Российскаго Государства отдельные друг от друга массы и никогда не допустит столь для блага отечества необходимаго совершеннаго в России Единородства, то чтобы все сии различныя имена были уничтожены и везде в общее Название Русских во едино слиты”. 3) “Чтобы

одни и те же Законы, один и тот же образ Управления по всем частям России существовали и тем самым в Политическом и Гражданском отношениях вся Россия на целом своем пространстве бы являла вид Единородства, Единообразия и Единомыслия”. В результате можно ожидать, что “все различные племена в России обретающиеся к общей пользе совершенно обрусеют и тем содействовать будут к возведению России на высшую степень Благоденствия, Величия и Могущества”.

Основа будущей нации — “коренной народ русский”, куда Пестель включал великороссов, малороссов и белорусов. Что же касается “различных Племен к России присоединенных”, то их участь — слиться с “коренным народом русским”. Финляндия должна лишиться своей автономии и перейти на русский язык. Перед цыганами поставлен выбор — или, приняв Православие, распределиться по волостям, или покинуть Россию. Мусульманам запрещается многоженство. Кавказские народы делятся на два разряда — “мирные и буйные”: “первых оставить на их жилищах и дать им российское Правление и Устройство, а Вторых Силою переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским Волостям”. Кроме того, планировалось “завезти в Кавказской Земле Русския селения и сим русским переселенцам роздать все Земли отнятые у прежних буйных жителей дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних (то есть теперешних) его обитателей и обратить сей Край в спокойную и благоустроенную область Русскую”. Русифицируются иноземные колонисты. Полностью уничтожается разряд так называемых “подданных иностранцев”, тех, кто “сами себя Иностранцами считают и <...> присягнули в Подданстве прежним Властелинам над Россиею, но не Россию за свое отечество признали” (остзейские немцы, поляки, живущие за пределами Польши, греки, армяне и т. д.). Они должны определиться — или стать “совершенно русскими” со всеми вытекающими отсюда последствиями, или перейти в разряд “совершенно иностранцев”. О решении польского и еврейского вопроса подробно говорилось выше.

КУЛЬТУРНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Декабризм в мировоззренческом плане представляет собой своеобразный гибрид Просвещения и Романтизма: с одной стороны — устойчивый, уверенный в себе (иногда до наивности) рационализм, с другой — принципиальный историзм, поиски общественного идеала в русском прошлом, склонность к эстетической архаике. Социально-политическая программа “первенцев русской свободы” была, несомненно, “западнической”, но ее культурное оформление явно тяготело к “почвенничеству”. В этом смысле декабризм — типичный представитель центрально- и восточно-европейского национализма, отличие его, пожалуй, только в том, что политика в данном случае шла не следующей стадией после “культурного возрождения”, а, наоборот, предшествовала ей, и культурный национализм “отставал” от политического, был недостаточно разработан. Среди вождей Тайного общества имелись известные литераторы (Рылеев, А. Бестужев), но большинство все же составляли амбициозные “политики” из офицерской среды, чьи литературные, культурологические и исторические штудии носили случайный, дилетантский характер (что не отменяет значительности последних). Это, скорее, “декларации о намерениях”, чем полноценное творчество. Кроме того, русская высокая культура к 1825 г. находилась еще в периоде становления и не могла предоставить достаточно материала для культурного национализма. Но все это вовсе не означает, что декабристы не придавали ему первостепенного значения.

Всерьез обдумывалась, например, языковая проблема. “Иноземцы, дабы господствовать над умами людей, — писал Н. И. Кутузов, — стараются возродить хладнокровие и само пренебрежение к отечественному наречию. Язык заключает в себе все то, что соединяет человека с обществом; самые малейшие его оттенки сильно говорят сердцу патриота и чужды рабу иноземному. <...> Народы для знаменитости и могущества должны заботиться о господстве языка природного во всех владениях своих, о всегдашнем употреблении его и совершенстве: совершенством языка познается величие народа”. Декабристы негодовали на “изгнание родного языка из обществ”, “совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку” (А. Бестужев), на господство французской речи в дворянской среде и активно пропагандировали

переход к русскому как языку общения и переписки. Тот же Кутузов полагал, что учащиеся до 16 лет должны изучать только родной язык. М. Орлов писал княгине С. Г. Волконской о воспитании ее детей: “Пусть постигнут они глубину духа их родного языка! Пусть вся их переписка с Вами, с их отцом, с друзьями всегда будет на русском языке! Именно приказывайте им это, и никогда не должно быть двух мнений в этом отношении. Возвращайте безжалостно все письма, где они примешают хотя бы одно иностранное слово” (забавно, правда, что эти пламенные патриотические строки писались по-французски).

Некоторые декабристы, ориентировавшиеся на лингвистическую программу политически от них предельно далекого А. С. Шишкова, предлагали весьма масштабные проекты по очистке русского языка от иноземных заимствований. В. К. Кюхельбекер надеялся “очистить русский язык от слов, заимствованных со времен Петра I” из латинского, французского и немецкого языков. Особенно раздражали Вильгельма Карловича германизмы (“совершенно невыносимые варваризмы”): “Мы не теряем надежды, что, в конце концов, правительство примет меры, чтобы больше не оскорблять народного чувства *шлагбаумами, ордонанс-гаузами, обер-гофмаршалами* и т. п. словами, которые до сих пор искажают письменную речь, придают ей нечто от враждебной державы, оскорбляют национальную гордость и являются по справедливости предметом насмешек тех же иностранцев, у которых заимствованы эти варварские выражения”.

Планировал “русификаторскую” языковую реформу Пестель, “в результате которой все заимствованные слова были бы заменены словами со славянскими корнями”, под очевидным влиянием опыта того же Шишкова (сочинения последнего имелись в личной библиотеке лидера Южного общества). Вот выборочный список пестелевских славянизмов применительно к военной области: армия – рать; корпус – ополчение; дивизия – войрод; батальон – сразин; артиллерия – воемет, бронемет; кавалерия – конница; иррегулярная – бесстройная; кирасиры – латники; арсенал – оружейня; рекрут – ратник; колонна – толпник; каре – всебронь; диспозиция – боевой указ; офицер – чиновник; штаб – управа; штандарт – знамя.

Декабристы-литераторы выступали с красноречивыми призывами к созданию подлинно национальной русской литературы. А. Бестужев в 1825 г. задавался вопросом: “Когда же мы попадем в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски? <...> все образцовые дарования несут на себе отпечаток не только народности, но и века и места, где жили они, следовательно, подражать им рабски в других обстоятельствах – невозможно и неуместно”. В 1833 г. он развивает ту же тему на примере исторического романа: “Где мне только исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, искрометны”. В. Кюхельбекер восклицал: “Да создается для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первую державою во вселенной <...> Станем надеяться, что наконец наши писатели <...> сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими”. Источники для “истинно русской поэзии”: “вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные”. Н. Кутузов указывал новой русской поэзии (и, конкретно, молодому Пушкину) как на образец на “Слово о полку Игореве”.

Историческая тема – одна из центральных у декабристов. Это не удивительно, они жили в эпоху, когда история стала делом общественной и государственной важности, когда авторитет прошлого был признан первейшим аргументом для обоснования тех или иных актуальных социально-политических практик. Деятели Тайного общества не только жадно читали исторические сочинения, но и стремились создать собственную концепцию отечественной истории, которая не могла не быть полемически заостренной против наиболее авторитетной в 1820-х гг. исторической концепции Н. М. Карамзина. Последняя “аргументом от истории” утверждала благодетельную неизбежность и незыблемость для России самодержавия, сводя русскую историю даже не к истории государственности, а к истории монархии. Декабристов не устраивала тенденция “выставлять превосходство самодержавия и какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный чадолюбивый отец, и дышит только одним желанием счастливить своих подданных” (М. Фонвизин). Им, для обоснования своих социально-политических идеалов, нужно было противопоставить этой концепции принципиально другое, альтернативное представление о русском прошлом.

Во-первых, декабристы настаивали на том, что русская история – это история народа. Никита Муравьев так и начинает свою критическую статью о карамзинской “Истории”, в пику ее “посылу” (“история народа принадлежит царю”): “История принадлежит народам”. Движущая сила истории – “дух народный, без которого не совершается коренных переворотов”. Во-вторых, русская история – это история *свободного* народа, который в начале своего бытия управлялся демократически: “древние республики Новгород, Псков и Вятка наслаждались политической и гражданскою свободою <...> и в других областях России народ стоял за права свои, когда им угрожала власть <...> общинные муниципальные учреждения и вольности были в древней России во всей силе, когда еще Западная Европа оставалась под гнетом феодализма” (М. Фонвизин). Затем эта свобода была “похищена” московскими князьями, “обманом” присвоившими “себе власть беспредельную, подражая ханам татарским и султану турецкому <...> Народ, сносивший терпеливо иго Батая <...> сносил таким же образом и власть князей московских, подражавших во всем сим тиранам” (Н. Муравьев). Императорский период также оценивался весьма критично, за исключением деятельности Петра I, Екатерины II и “дней Александровых прекрасного начала”. Впрочем, у некоторых декабристов (Кавховский, Лунин, Поджио) и Петру предъявляется суровый счет. История поселемонгольской России – история борьбы народа за возвращение “похищенной свободы”, включающая в себя и Земские соборы Московской Руси, и “кондиции” “верховников”, и конституционные проекты Н. И. Панина и П. А. Палена, и, наконец, Тайное общество. “Думы” Рылеева пропагандировали декабристскую историческую концепцию в поэтической форме. Даже вроде бы монархический “Иван Сусанин” несет в себе национал-демократический заряд: герой жертвует собой за “русское племя” и за *выборного* царя.

Таким образом, декабризм претендовал быть не просто “почвенным”, но *истинно* “почвенным” явлением русской жизни. Борьба за политическую свободу и демократию превращалась из подражания иноземцам в “возращение к корням”. С. И. Муравьев-Апостол в своем “Православном катехизисе” призывает “христолюбивое воинство российское” не *установить*, а именно “*восстановить* правление народное в России”. Н. Муравьев единственный способ “добывать свободы” видит в том, чтобы “утвердить постоянные правила или законы, как бывало в старину на Руси”. Народно-вечевое прошлое Руси, по его мнению, опровергает “ни на чем не обоснованное мнение, что русский народ неспособен, подобно другим, сам распоряжаться своими делами”. Рылеев полагал, что “Россия и по древним воспоминаниям и по настоящей степени просвещения готова принять свободный образ правления”. Естественно, что среди декабристов царил подлинный культ “Господина Великого Новгорода”.

“Восстановление свободы” поэтому мыслилось в национальных русских формах. По “Конституции” Н. Муравьева, “гражданские чины, заимствованные у Немцев и ничем не отличающиеся между собою, уничтожаются сходственно с древними постановлениями народа Русаго”. Зато появляются должности тысяцкого (глава уездной исполнительной власти), волостного старейшины, державного дьяка. Области, на которые делится государство, получают название “держав”, законодательное собрание именуется Народным Вечем (а его верхняя палата – Верховной Думой), вместо министерств учреждаются “приказы” и т. д. В первой редакции “Конституции” столицу предполагалось перенести в Нижний Новгород, переименованный в Славянск (в третьей редакции столица – Москва). В пестелевской “Русской Правде” практически то же самое: столица переносится в Нижний Новгород (переименованный во Владимир, Владимир же становится Клязминим), законодательная власть осуществляется Народным Вечем, исполнительная – Державной Думой, Петербург переименовывается в Петроград.

Некоторые декабристы придавали серьезное значение “восстановлению” национального быта или, как сказал бы К. Н. Леонтьев, национальной “эстетики жизни”. М. Дмитриев-Мамонов публично расхаживал в красной рубахе, полукафтани, шароварах, носил бороду. В. Кюхельбекер мечтал, но не решался носить “русский костюм”, ограничившись тем, что облачил в кафтан своего слугу. Рылеев хотел явиться на Сенатскую площадь в “русском платье”. Можно вспомнить и о его “русских завтраках” с водкой и квашеной капустой, по поводу которых Н. Бестужев вспоминал “всегдашнюю склонность” поэта – “налагать печать русизма на свою жизнь”. Замечательно признание

А. Бестужева на следствии, что “в преобразовании России <...> нас более всего прельщало русское платье и русское название чинов”.

ДЕКАБРИЗМ В ИСТОРИИ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Подавляющее большинство декабристов, оставивших после себя литературное или эпистолярное наследие, доступное автору этой работы, не могут быть иначе квалифицированы как *классические европейские националисты*. И что еще более важно, главные идейно-политические документы декабризма – “Конституция” Н. Муравьева и (в еще большей мере) “Русская Правда” Пестеля – это программы построения *национального государства*.

Национализм декабристов был либерально-демократическим, выдвигающим в качестве обязательного условия русского нациостроительства кардинальные реформы социального и политического строя Российской империи: прежде всего, отмену крепостного права и ограничение (конституционное или “нравственное”) или ликвидацию самодержавия. Среди членов Тайного общества существовали серьезные разногласия, там можно найти и радикальных республиканцев и консервативных монархистов, но, во всяком случае, на этих пунктах (в разных интерпретациях) сходились все.

Важно отметить, что декабристский национализм был отнюдь не маргинальным явлением в среде элиты русского дворянства. А. Бестужев с полным основанием говорил на следствии: “едва ли не треть русского дворянства мыслила подобно нам, хотя была нас осторожнее”. Этому не нужно удивляться, декабризм – идеология именно дворянская, напрямую вытекающая из интересов наиболее прогрессивной части “благородного сословия”, которое собственно и инициировало русский национализм в своих социально-политических интересах. Многочисленных “симпатизантов” декабризма оттолкнула от него вовсе не программа и даже не столько радикальные средства, предложенные для реализации последней (далеко не все члены Тайного общества были сторонниками вооруженного восстания), сколько его поражение, оплаченное кровью и репрессиями. Такой массовой “чистки” русское дворянство не знало никогда в “петербургский период” (даже в эпоху “бироновщины”). Следствием этой психополитической травмы стал поиск дворянской элитой иных путей развития России.

Декабризм, будучи одним из наиболее ярких проявлений русского национализма, “выпал” из его истории по вполне объективным причинам. Его вожди и участники были либо казнены, либо “изъяты из обращения” (Герцен) на тридцать лет. За это время сформировались другие версии националистической идеологии (славянофильство и западничество) вне прямой связи с “людьми 14 декабря”, чьи программные документы были просто-напросто недоступны. Поднявший на щит декабристов в 1850-е гг. Герцен “присвоил” их себе как “предшественников” и вписал в качестве родоначальников в историю “русского освободительного движения”, интерпретировав идеологию Тайного общества в духе собственных воззрений. Эта трактовка оказалась чрезвычайно влиятельной, тем более что “Русская Правда” впервые была издана только в начале XX в.

Между тем, вернувшиеся из ссылки декабристы, первоначально Герцена высоко ценившие, вскоре, во время польского мятежа 1863 г., оказались с ним по разные стороны баррикад, вместе с М. Н. Катковым, похвалы которому нередки в их переписке. Некоторые из них (Завалишин, Свистунов) стали литературными сотрудниками катковских изданий. Своих единомышленников “первенцы русской свободы” искали именно среди националистов новой формации. Сочувственные ссылки на М. П. Погодина находим, например, у Штейнгейля и Поджою. С симпатией относились многие декабристы к славянофилам. Волконский 13 января 1857 г. писал И. Пущину из Москвы: “Я здесь довольно часто вижу некоторых славянофилов, странно, что люди умные, благонамеренные – [придают столько значения своему платью (в оригинале фраза по-французски. – С. С.)], но что они люди умные, благонамеренные, дельные, в том нет сомнения – и теплы они к емансипации и горячи к православию, а народность и православие – вот желаемая мною будущность России. При сем прилагаю тебе стихи Хомякова [“По прочтении псалма”] – по-моему, замечательные”. М. Муравьев-Апостол солидаризовался со славянофилами в оценке первого “философического письма” своего бывшего однополчанина П. Я. Чаадаева: “Человек, который участвовал в походе 1812 г., и который мог

это написать, положительно сошел с ума. Понимаю негодование А. С. Хомякова, К. С. Аксакова и всякого искреннего русского». В 1870-х гг. Матвей Иванович сделался горячим поклонником суворинского «Нового времени» и «Дневника писателя» Достоевского, в последнем он видел прямого наследника декабристов: когда Достоевский «пишет о нашей Красавице России, мне кажется, что слышу брата [Сергея] и Павла Ивановича Пестеля <...> «Русская Правда» когда-нибудь явится на Божий Свет. Какой славой озарится имя Пестеля!»

Интересно, однако, что если декабристы видели в позднейших националистах своих продолжателей и единомышленников, то последние не только не признавали связи с ними, но, напротив, старательно от нее отреклись (тот же Достоевский). Люди другого поколения, воспитанные под жестким прессом николаевского режима, они уже не чувствовали государство «своим» и потому не могли совместить в себе, подобно «детям 1812 года», пафос борьбы за политическую свободу с национально-государственным патриотизмом. Славянофилы и Катков отказались от первого, Герцен — от второго. В обоих случаях государство приобрело трансцендентный, а не имманентный характер, только в первом случае оно либо обоготворялось (Катков), либо становилось закрытой в себе сферой, четко отделенной от общества (славянофилы); во втором же — делалось объектом ненависти и сопротивления. Западники же, сохранившие модернистский потенциал декабризма, почти совершенно не восприняли его культурный национализм.

Прославляемые славянофильско-почвенническими националистами 40–80-х гг. добродетели «смирения», «самоотречения» и проч., ставшие морально-психологической компенсацией за унижение и бессилие дворянства и интеллигенции в николаевское царствование, никак не сочетались с декабристским этосом самостоятельного, деятельного гражданина, лично отвечающего за ход истории. Кроме того, те же самые обстоятельства николаевского тридцатилетия сформировали у возмужавшего в эту пору поколения культ (квази) теоретических схем, разного рода историософий, которым многие его представители (особенно это заметно у славянофилов) последовательно подчиняли свою практическую деятельность. Декабристы же — практики по преимуществу, теории создавались ими на ходу, ad hoc. Можно видеть в этом «недостаток глубины», а можно, напротив, ценить прямой взгляд на вещи, не замутненный культурными мистификациями.

Так или иначе, но при всех противоречиях со славянофилами и Катковым декабристы выбрали их, как националисты националистов, а не Герцена, в мировоззрении которого националистический концепт тоже присутствовал, но «забивался» абстрактно-гуманитарной риторикой.

В начале XX в., после издания «Русской Правды», русские националисты либерального толка из Всероссийского национального союза заинтересовались декабризмом, в их сочинениях (например, у П. И. Ковалевского) появились сочувственные ссылки на Пестеля. Но дальше настали времена, для русского национализма не слишком благоприятные. В СССР, начиная с конца 1930-х гг., о национализме декабристов писать было не принято. Фрондирующие исследователи хрущевско-брежневских времен, вроде Н. Эйдельмана, и «оппозиционные» «мастера культуры» (Б. Окуджава, В. Мотыль с его фильмом «Звезда пленительного счастья») старательно лепили из них «шестидесятников». «Русская партия» 60–80-х гг. полностью отдала декабристов на откуп либералам, предав их культу славянофилов и Леонтьева.

Так что нет ничего удивительного в том, что только сегодня мы начинаем понимать уникальное место декабристов в истории русского национализма. Во-первых, они в своем мировоззрении органично соединили идею демократии и идею национальной самобытности. Во-вторых, они выступили как действенная, самостоятельная политическая сила во имя реализации своих идеалов.

Собственно, таким и должен быть любой нормальный национализм.